

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8
Э94

Э94 **Эфрон, Ариадна Сергеевна.**
Марина Цветаева. Сергей Эфрон. Любовь и трагедия / Ариадна Эфрон. — Москва : Алгоритм, 2017. — 256 с. — (Знаменитые пары СССР).

ISBN 978-5-906842-92-3

«Я выйду замуж за того, кто угадает, какой мой любимый камень», — сказала как-то Марина своему другу Максимилиану Волошину на пляже в Коктебеле.

Сергей Эфрон в первый же день знакомства подарил Марине гонуэзскую сердоликовую бусину, которую та хранила до конца своих дней. Данное Волошину обещание сбылось — по приезде домой Марина и Сергей обвенчались. Цветаева в восторге писала Василию Розанову: «Наша встреча — чудо, мы никогда не расстанемся»... Поэтесса и здесь оказалась права. Сергей Эфрон был расстрелян в 1941-м, в том же году покончила с собой и Марина Цветаева.

Эта книга — история их непростой и трагической любви, написанная дочерью Марины и Сергея, талантливой художницей и литератором Ариадной Эфрон. Ее мемуары как нельзя лучше рассказывают о том, какими на самом деле были Марина Цветаева и Сергей Эфрон.

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8

ISBN 978-5-906842-92-3

© Эфрон А.С., 2017
© ООО «ТД Алгоритм», 2017

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Литературно-художественное издание

ЗНАМЕНИТЫЕ ПАРЫ СССР

Эфрон Ариадна Сергеевна

**МАРИНА ЦВЕТАЕВА. СЕРГЕЙ ЭФРОН
ЛЮБОВЬ И ТРАГЕДИЯ**

Редактор *Е. О. Мигунова*
Художественный редактор *Б. Б. Протопопов*
Художник *Е. В. Максименкова*

ООО «Алгоритм»

Оптовая торговля:

ТД «Алгоритм» +7 (495) 617-0825, 617-0952

Сайт: <http://www.algoritm-izdat.ru>

Электронная почта: algoritm-kniga@mail.ru

Өндірген мемлекет: Ресей
Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 16.03.2017.
Формат 84x108¹/₃₂. Печать офсетная. Усл. печ. л. 13,44.
Тираж экз. Заказ

ISBN 978-5-906842-92-3





СОДЕРЖАНИЕ

ПОПЫТКА ЗАПИСЕЙ О МАМЕ	7
----------------------------------	---

О МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ. *Воспоминания дочери*

Какой она была?	40
Как она писала?	46
Ее семья	47
Ее муж. Его семья	53

ИЗ САМОГО РАННЕГО

Моя мать	72
Четырехлистник	72
«Кот в сапогах» Антокольского в Третьей студии Вахтангова	75
1 мая 1919 года	86
Подвиг	94
В деревне	95
Вечер Блока	102
Юбилей Бальмонта	108
Лавка писателей	116

СТРАНИЦЫ БЫЛОГО

Последний день в Москве	123
Берлин	132
Пастернак	163
Чехия	190
Переезд на чердак	200
Самофракийская победа	247



У меня плохая память, лишенная стройного порядка, присущего цветавскому роду: Слуган, события, лица, хранящиеся в ней, не стоят на якоре дат и лишь приблизительно скреплены связующей нитью дней и лет. Вместе с тем помню я так много, что могла бы, если бы умела, написать страницы. Если бы умела. Но есть слуган, когда и неумелый обязан взяться за перо, а любовь и чувство долга обязаны заменить отсутствующий талант. Впрочем, так ли он необходим, когда пытаешься писать именно о таланте? Сумел же Эккерман обойтись без своего, одним гётевским!

Пройдут годы, придут люди, которым будет дано преодолеть преступное равнодушие времени, заставить его вернуть забытое, сказать умалганное, воскресить убитое и поправное. В помощь этим людям я и пытаюсь записать то, что помню о матери — и о времени.



ПОПЫТКА ЗАПИСЕЙ О МАМЕ

Первые мои воспоминания о маме, о ее внешности похожи на рисунки сюрреалистов. Целостности образа нет, потому что глаза еще не умеют охватить его, а разум — собрать воедино все составные части единства.

Все окружающее и все окружающие громоздки, необъятны, непостижимы и непропорциональны мне. У людей огромные башмаки, уходящие в высоту длинные ноги, громадные всемогущие руки.

Лиц не видно — они где-то там наверху, разглядеть их можно, только когда они наклоняются ко мне или кто-то берет меня на руки; тогда только вижу — и пальцем трогаю — большое ухо, большую бровь, большой глаз, который захлопывается при приближении моего пальца, и большой рот, который то целует меня, то говорит «ам» и пытается поймать мою руку; это и смешно, и опасно.

Понятия возраста, пола, красоты, степени родства для меня не существуют, да и собственное мое «я» еще не определилось, «я» — это сплошная зависимость от всех этих глаз, губ и, главное, — рук. Все остальное — туман. Чаще всего этот туман разрывают именно мамины руки — они гладят по голове, кормят с ложки, шлепают, успокаивают, застегивают, укладывают спать, вертят тобой, как хотят. Они — первая реальность и первая действующая, движущая сила в моей жизни. Тонкие в запястьях, смуглые, беспокойные, они лучше всех, потому что полны блеска серебряных перстней и браслетов, блеска, который приходит и уходит вместе с ней и от нее неотделим.

Блестящие руки, блестящие глаза, звонкий, тоже блестящий голос — вот мама самых ранних моих лет. Впер-





вые же я увидела ее и осознала всю целиком, когда она, исчезнув на несколько дней из моей жизни, вернулась из больницы после операции. Больницу и операцию я поняла много времени спустя, а тут просто открылась дверь в детскую, вошла мама, и как-то сразу, молниеносно, все то разрозненное, чем она была для меня до сих пор, слилось воедино. Я увидела ее всю, с ног до головы, и бросилась к ней, захлебываясь от счастья.

Мама была среднего, скорее невысокого, роста, с правильными, четко вырезанными, но не резкими чертами лица. Нос у нее был прямой, с небольшой горбинкой и красивыми, выразительными ноздрями, именно выразительными, особенно хорошо выражавшими и гнев, и презрение. Впрочем, все в ее лице было выразительным и все — лукавым, и губы, и их улыбка, и разлет бровей, и даже ушки, маленькие, почти без мочек, чуткие и настороженные, как у фавна. Глаза ее были того редчайшего, светло-ярко-зеленого, цвета, который называется русалочьим и который не изменился, не потускнел и не выцвел у нее до самой смерти. В овале лица долго сохранялось что-то детское, какая-то очень юная округлость. Светло-русые волосы вились мягко и небрежно — все в ней было без прикрас и в прикрасах не нуждалось. Мама была широка в плечах, узка в бедрах и в талии, подтянута и на всю жизнь сохранила и фигуру, и гибкость подростка. Руки ее были не женственные, а мальчишечьи, небольшие, но отнюдь не миниатюрные, крепкие, твердые в рукопожатье, с хорошо развитыми пальцами, чуть квадратными к концам, с широковатыми, но красивой формы ногтями. Кольца и браслеты составляли неотъемлемую часть этих рук, срослись с ними — так раньше крестьянки сережки носили, вдев их в уши раз и навсегда. Такими — раз и навсегда — были два старинных серебряных браслета, оба литые, выпуклые, один с вкрапленной в него бирюзой, другой гладкий, с вырезанной на нем изумительной летящей птицей, крылья ее простирались от края и до края браслета и обнимали собой все за-





Марина Цветаева. Феодосия. 1914 г.





пястье. Три кольца — обручальное, «уцелевшее на скрижалях»*, гемма в серебряной оправе — вырезанная на агате голова Гермеса в крылатом шлеме, и тяжелый, серебряный же, перстень-печатка, с выгравированным на нем трехмачтовым корабликом и, вокруг кораблика, надписью — тебѢ моя синпатія — очевидно, подарок давно исчезнувшего моряка давно исчезнувшей невесте. На моей памяти надпись почти совсем стерлась, да и кораблик стал еле различим. Были еще кольца, много, они приходили и уходили, но эти три никогда не покидали ее пальцев и ушли только вместе с ней.

В тот вечер, когда мама воплотилась для меня в единое целое, на ней было широкое, шумное шелковое платье с узким лифом, коричневое, а рука, забинтованная после операции, была на перевязи, и даже перевязь эту я запомнила — темный кашемировый платок с восточным узором.

Самое мое первое воспоминание о ней — да и о себе самой: несколько ступеней — на верхней из них я стою, ведут вниз, в большую, чужую комнату. Все мне кажется смещенным, потому что — полуподвал. Лампочка высоко под потолком, а потолок — низко, раз я стою на лесенке. Не пойму, что ко мне ближе — пол или потолок. Мама там, внизу, под самой лампочкой, то стоит, то медленно поворачивается, слегка расставив руки, и смотрит вовсе не на меня, а себя оглядывает. Возле нее, на коленях, — женщина, что-то на маме трогает, пригладывает, одергивает, и в воздухе носятся, все повторяясь и повторяясь, незнакомые слова «юбка-кlesh, юбка-кlesh». В углу еще одна женщина, та вовсе без головы, рук у нее тоже нет и вместо ног — черная лакированная подставка, но платье на ней — живое и настоящее. Мне ведено стоять тихо, я и стою тихо, но скоро зареву, потому что на меня никто не обращает внимания, а я ведь маленькая и могу упасть с лестницы.

* Строка из стихотворения М. Цветаевой «Писала я на аспидной доске...» (1920). «Ты — уцелеешь на скрижалях» — относится к имени мужа, обозначенному на внутренней стороне обручального кольца.





Это, мама говорила, было в Крыму, и пошел мне тогда третий год.

Из того лета не осталось в памяти ни людей, ни вещей, ни комнат, где мы жили. Впервые возник в сознании папа — он был такого высокого роста, что дольше, чем мама, не умещался в поле моего зрения, и первое мое о нем воспоминание про то, как я его не узнала. Мама несет меня на руках, навстречу идет человек в белом, мама спрашивает меня — кто это, а я не узнаю. Только когда он наклоняется надо мной, узнаю и кричу — Сережа, Сережа! (В раннем детстве я родителей называла так, как они называли друг друга, — Сережа, Марина, а еще чаще — Сереженька, Мариночка!)

Еще помнятся мамины шлепки, за то, что я с крутого берега бросила свой новый башмачок прямо в море. Шлепки помню, а море — нет, оно было такое огромное, что я его не замечала.

Следующее лето в Крыму уже заполняется людьми, событиями, оттенками, звуками, запахами. Уже врезается в память белая, нестерпимо белая от солнца стена дома, красные розы, их сильный, почти осязаемый запах и их колючки. Уже различаю море и вижу горизонт, но чувства пространства еще нет: море для меня, когда стою на берегу, — высокая сизая стена. Я — ниже его уровня. — Понимаю, что море хорошо только с берега. Купаться в нем — ужасно.

Когда меня, крепко держа подмышки, окунают в шипящую волну, я заливаюсь слезами и визжу не переводя дыхания. Потом мама вытирает меня мохнатой простыней и стыдит, но мне все равно, главное, что я — на суше. Чтобы приучить меня к купанью, моя крестная, Пра, мать Макса Волошина, бросается в море и плывет — прямо одетая. Когда она выходит на берег, с ее белого татарского халата, расшитого серебром, с шаровар и цветных кожаных сапожков ручьями льет вода. Но мне не смешно и не интересно глядеть на нее. Пра мне помнится очень большой, очень седой, шумной, вернее — громкой.





Временами рядом со мной возникает мой двоюродный брат Андрюша. Он — хороший мальчик, он — не боится купаться, у него чаще, чем у меня, сухие штаны, он хорошо ест манную кашу и даже глотает ее, он «слушается маму». Несмотря на то, что он так хорош, я все же люблю его на свой лад, мне нравится полосатый колпачок с кисточкой у него на голове, мне весело качаться с ним на доске, положенной поперек другой доски. Пусть мы с ним часто деремся, чего-то там не поделив, но я тянусь к нему, потому что чувствую в нем человека одной со мной породы: он так же мал и так же зависим, как я. Его так же, как и меня, куда-то уносят на руках в самый разгар игры, так же неожиданно, как меня, вдруг укладывают спать, или начинают кормить, или шлепают и ставят в угол. Он — мой единоплеменник и единственный настоящий человек в окружающем нас сонме небожителей.

Правда, первое наше знакомство вызвало у меня чувство настоящей ненависти. Это было, видимо, предыдущей зимой в Москве. В моей детской появился маленький белоголовый мальчик, в платьице и в красных башмачках. Это — говорит мама — твой брат Андрюша. «Мой брат Андрюша» неуверенно протягивает мне ручку, но я обе свои прячу за спину и начинаю больно наступать своими черными на его красные башмачки. Давлю изо всех сил, молча, сопя от зависти и гнева. У него — у него, у «брата Андрюши», а не у меня такие красивые красные башмачки! Мне нужно уничтожить их и раздавить, раз они не мои. Андрюша отступает, я наступаю — и все ему на ноги. Андрюша вцепляется мне в волосы, я с наслаждением — ему в лицо. Нас разнимают мамы — моя и его, нас хлопают по рукам, я воплю от досады, от неумения выразить обуревающие меня страсти — у меня еще нет слов, и я не могу объяснить, что красные башмачки должны быть моими или пусть их вовсе не будет!

Именно этим крымским летом выясняется, во-первых, что я труслива — Пра подарила мне ежика, но страх и от-





вращение мое перед его колючками сильнее умиления перед тем, что он, не в пример мне, умеет пить молоко из блюдечка. Все гладят ежа — и мама, и Пра, Андрюша даже вперед забегает, — а я не могу заставить себя протянуть руку — к этому сгустку колючек, сам воздух вокруг них, кажется мне, колется!

Во-вторых, выясняется, что я совсем не умею есть. Я способна только жевать, жевать до бесконечности, но проглотить эту жвачку не в состоянии и старательно выплевываю ее. С борьбы с этими моими двумя первыми недостатками и начинается мама свою «воспитательную работу» — и на долгие годы. Она борется с моей трусостью увещеваньями, наказаньями, а с водобоязнью — просто купаньем — но обе мы стойки и не сдаем позиций.

— Ты боялась погладить ежика? Бог тебя наказал — теперь ежик сдох, понимаешь? умер, ну, уснул и никогда не проснется. Нет, разбудить его нельзя. Теперь ты и хотела бы его погладить, а уж поздно. Бедный, бедный ежик! — А все потому, что ты — трусиха!

Я горько плачу, долго, долго помню — да и по сей день не забыла, как ежик, подаренный мне Пра, сдох, умер, уснул навсегда из-за того, что я побоялась погладить его. Но все же не уверена, что заставила бы себя к нему прикоснуться, даже если бы наказавший меня Бог воскресил его тогда, снизойдя к моему горю.

А ела я в детстве действительно ужасно. Жевала, рассеянно глаза по сторонам или боязливо вперясь в маму, уже рассерженную, жевала, цепenea от сознания, что все это нужно проглотить — и не глотала. Жевала до последнего предела — а потом выплевывала. Плевалась, зная, что кара неизбежна, шла на нее с ослиным упрямством и христианским смирением.

Плевалась до того, что мама раздевала меня догола, вешала мне на шею салфетку с вышитой красными нитками кошачьей головой и надписью «Von appetit» — подарок маминой сестры Аси — и, сама надев фартук, садилась на-





против моего высокого стульчика с тарелкой манной каши и ложкой в руках. В кормлении моем принимали участие многие, каждый говорил, что в жизни не видывал такого случая, но тем не менее советы давали все. Пра, которую мама уважала и слушалась, советовала не кормить меня вообще, пока я сама, проголодавшись, не попрошу есть. Мама согласилась. Лето было жаркое, я все пила молоко — три дня только молоко пила, а есть так и не попросила, так и не проголодавшись. На четвертый день мама сказала, что не согласна быть свидетелем гибели собственного ребенка, и вновь я сидела голая с салфеткой под подбородком и не могла проглотить ничего, кроме собственных слез.

(Много, много лет спустя, двадцатитрехлетней девушкой вернувшись в Советский Союз, я работала в журналовской редакции журнала «Ревю де Моску». Телефонный звонок. «Ариадну Сергеевну, пожалуйста!» — «Это я». — «С вами говорит Елена Усиевич*. Вы помните меня?» — «Нет». — «Да, правда. Вы тогда были совсем маленькая... Как вы живете, как устроились?» — «Хорошо, спасибо!» — «А как едите?» — «Да я, собственно, достаточно зарабатываю, чтобы нормально питаться», — отвечаю я, озадаченная такой заботливостью. — «Ах, я вовсе не про то, — перебивает меня Усиевич, — едите как? Глотаете? Вы ведь в детстве совсем не глотали... Я до сих пор не могу забыть, как вы сидели голышом, с головки до ног перемазанная кашей, которой вас кормила М<арина> И<вановна>! И вот теперь узнала, что вы приехали, и решила вам позвонить, узнать...»)

Дом, в котором проходили мамины молодые и мои детские годы, уцелел и поныне. Это — двухэтажный с улицы и трехэтажный со двора старый дом номер 6 по Борисоглебскому переулку, недалеко от Арбата, от бывшей Поварской и бывшей Собачьей площадки. Тогда напротив дома росли два дерева — мама посвятила им стихи «Два

* Елена Усиевич, литературный критик.





дерева хотят друг к другу» — теперь осталось одно, осиротевшее. В квартиру № 5 этого дома мы переехали из Замоскворечья, где я родилась. Квартира была настоящая старинная московская, неудобная, путаная, нескладная, полутораэтажная и очень уютная. Две двери из передней вели — левая в какую-то ничью комнату, с которой у меня не связано никаких ранних воспоминаний, правая — в большую темную проходную столовую. Днем она скучно и странно освещалась большим окном-фонарем в потолке. Зимой фонарь этот постепенно заваливало снегом, дворник лазил на крышу и выгребал его. В столовой был большой круглый стол — прямо под фонарем; камин, на котором стояли два лисьих чучела, о которых еще речь впереди, бронзовый верблюд-часы и бюст Пушкина. У одной из стен — длинный, неудобный, черный — клеенчатый или кожаный, с высокой спинкой — диван и темный большой буфет с посудой.

Вторая дверь из столовой узким и темным коридором вела в маленькую мамину комнату и в мою большую детскую. В детской, самой светлой комнате в квартире, — три окна. Окна эти в памяти моей остались огромными, с пола до потолка, такими блестящими от чистоты, света, мелькавшего за ними снега! Недавно, войдя во двор нашего бывшего дома, убедилась в том, что на самом деле это — три подслеповатых и — тусклых оконца. Такие они маленькие и такие незрячие, что не удалось им победить, затмить в моей памяти тех, созданных детским восприятием и дополненных детским воображением!

Налево от двери стояла черная чугунная печка-колонка, отапливавшаяся углем, за ней большой и высокий, до потолка, книжный шкаф, в котором стояли детские книги моей бабушки, М. А. Мейн, мамыны и мои. В самом нижнем отделении шкафа жили мои игрушки, их я могла доставать сама, а книги мне всегда доставала и давала мама. К шкафу примыкала изножьем моя кровать с сеткой, а изголовьем — к сундуку очередной няни. Ни больших сто-





лов, ни взрослых стульев в этой комнате не помню — однако, они должны были быть. Помню мягкий диван между крайним окном и дверью. Помню картины в круглых рамах — копии Греза, одна из них — девушка с птичкой. Над моей кроватью был печальный мальчик в бархатной рамке. Какие-то из этих картин — а может быть, и все они — были работы бабушки Марии Александровны. Детская была просторна, ничем не загромождена.

Выйдя из детской все в тот же узкий темный коридорчик, проводя рукой по левой его стене, можно было нащупать дверь в мамину комнату. Это была единственная на моей памяти настоящая мамина комната — не навязанный судьбой угол, не кратковременное убежище, за которое скоро нечем будет платить и которое придется сменить на другое, почти такое же, только рангом ниже и этажом выше...

Комната была небольшая, продолговатая, неправильной формы в виде буквы «Г», темноватая, т.к. окно было прорезано почти в углу короткой ее стороны — мешала смежная стена детской. Почти весь свет этого окна поглощался большим письменным столом. Справа на столе, вдоль короткой стенки закоулка, в котором помещался стол, стояли рядом книги, лежали тетради, бумаги. Среди безделушек (впрочем, «безделушки» самое неподходящее для маминого письменного стола слово! То были не безделушки, а вещи с душой и историей, далеко не случайные и не всегда красивые) — среди вещей, за которыми я, маленькая, жадно и бесполезно тянулась, быта высокая, круглая, черного лака коробочка с перьями и карандашами, называвшаяся «Тучков-четвертый»*, потому что на ней был прелестный миниатюрный портрет этого двадцатидвухлетнего генерала, героя 1812 г. — в алом мундире и сером плаще через плечо. Очень соблазнительным было

* «Тучков-четвертый» — Александр Алексеевич Тучков, генерал-майор, погибший в Бородинском сражении.





*Борисоглебский переулок, 6.
Теперь здесь Дом-музей Марины Цветаевой.*



*Дочери Марины Цветаевой – Ариадна и Марина.
«Старшую у тьмы выхватывая – младшей не уберегла...»*

